Ася Волошина

МАМА

пьеса-акция

*версия с небольшими купюрами*

*полная версия — i.ya.aksolotl@gmail.com*

Позавчера у меня был день рождения. Уже можно не поздравлять. Но кто-то ещё поздравляет – ну, как по инерции. Это же странная такая штука – у всех, наверно, да? Как бы собираешь такой сгусток слов про то, какая ты вся офигенная, в фэйсбуке, твиттере – это становится уж вроде как даже основное. Потому что сам праздник – ну что – ты там бегаешь к домофону, к телефону, накручиваешь себя, что ты среди родных людей, что тебе отлично, ну, как бы это всё; ну, понятно. Такая обязательная программа внешняя. А основное – это уже эти поздравления в сообщениях становятся и на стене. То есть если ты до этого был там в депрессии или что, то читаешь и вот как бы. К тому же ты знаешь, конечно, что все это видят тоже у себя в ленте, какой ты классный, сколько тебя поздравляют, ну и такой эффект. Как бы что тебе уже гарантированно станет в этот день и на несколько дней вперёд хорошо от того, что люди не поленились тебе сказать, что ты отличная и они желают тебе. Даже, может, кого-то из них ты даже не помнишь, кто это. Всё равно. Эффект. Если, конечно, нет такой ситуации, что ты ждёшь от кого-то конкретного одного, а он, этот человек, как раз и не.

Но у меня нет такой ситуации.  
Но и хорошо мне в этот раз всё равно не стало.  
Наоборот.  
Вчера у меня как бы дня можно считать, что не было. Ну, потому что в этот самый день рождения мне, если честно, было в этот раз так страшно, что. Унесло, конечно. Как и следовало ожидать. Глупо. В общем, вчера всё было посвящено в основном тому, чтобы голову от подушки каким-то образом. Оторвать. «Энтеросгель» и всё такое. А для моих друзей – для всех причём – был обычный совершенно мой день рождения. Ну, это понятно. Даже не круглая же дата. 28. Ну, праздник и праздник – что тут особенно. Шутили только, что я теперь уже не в клубе. Ну, клуб 27 который (Курт, Дженис). И только. Даже подруга самая близкая не состыковала. Ну и вот.  
А есть такое ещё – как бы терапевтический эффект похмелья. Ложный. Особенно хорошо наблюдается, если у тебя одновременно горе и похмелье. Такое горе причём желательно непоправимое. Ну, кто-то умер. И вот ты, скажем, на поминках не выдерживаешь, напиваешься в щи, а потом – следующий день.  
И такое чувство.  
Что тебе очень просто экстраординарно, конечно, плохо. Но ты знаешь – то есть ты знаешь наверняка же, что похмелье – оно пройдёт. Твой организм знает. То есть по опыту. А горе оно уже с похмельем в этот момент спаялось намертво просто. Незаметно для тебя.  
И вот.  
И выходит.  
Твоему организму.  
Как бы кажется.  
Что и оно.  
Вместе с похмельем.  
На следующий день.

Ася Волошина

Тоже.  
Короче, в тот день я была с друзьями. Вчерашнего дня у меня, считай, не было, а сегодня – всё. Вот коробка, здесь их 23. И вот невскрытое. И сегодня надо открыть. И всё. И всё. А оно последнее.

Первое письмо от мамы я должна была получить в пять лет, а получила в семь. То есть это такая забота – чтоб не травмировать психику. То есть мама умерла, когда мне было четыре. То есть, когда мне было четыре, она умерла, но она умирала довольно долго – около полугода. И за это время она написала мне письма. По одному на каждый год. До того возраста, когда.

Тогда ещё не было особенных альтернатив: отвезти в Израиль, достать какое-то суперлекарство, которое вроде как. Продлит. Всех лечили примерно одинаково: плохо. И поэтому довольно чёткий делали прогноз, сколько осталось. У мамы была очень плохая стадия. И неоперабельные метастазы.

Ей тогда было.  
Ну, понятно.  
Как мне сейчас.  
Ну, и то есть она посчитала, что когда я уже буду старше её, когда мне 29, то ей уже как бы нечем будет мне помочь. Наверно, так. Так что сегодня. Вот. Такой был как-то для меня особенный день рождения.

И не очень.  
То есть как бы всё ещё раз. Её потерять. Не уверена, что это понятно.  
А в семь лет – там ещё тогда такое было: это первый класс, и получается, что это первый раз полноценно отмечалось с друзьями. Ну, то есть не с такими, которые дети друзей твоих родственников, и ты хочешь-не-хочешь, а это уже твои вроде как собственные друзья. Ну, и там всякие фанты, всякие отрезания там «Куку-Руку» с верёвочек с закрытыми глазами – ну, бабушки расстарались. И уже вечер, и почти уже всех забрали. И там осталось буквально три человека, и тут выяснилось, что один десерт забыли на шкафу и не выставили на стол. Яблоки печеные в заварном креме. А открылось это, когда мы решили с этого шкафа на диван прыгать на подушки. Залезли, а там ваза – как чаша Грааля просто. Чехословацкий хрусталь. И вот мы втроём прямо в вазу туда ложками. И состояние, в общем, такое – как будто это. Ну, как тайное причастие или что. Короче, масонская ложа. И вот, мы такие вкушаем, и он, главное, мягкий был, но как-то так, как назло, вышло, что у меня вывалился молочный зуб. Причём кровищи было! И я ещё такая ничего не поняла. Кровь.  
Я сейчас рассказываю, и понимаю, что история получается – ну, как про первую менструацию просто. Забавно. Короче, я сижу, кровь, как у вампира, причём не больно; подружки орут, прибегают бабушки – они вели себя вообще-то суперделикатно: провели игры и потом уже курили и спорили про политику на кухне. Ну, и вот. Такая картинка. Да, забыла сказать, что мы при этом на шкафу сидим. Ну, кипиш, естественно, меня омывают, всё это – и сквозь слёзы, и смешно. Перепуганные все, кто-то хнычет, ещё испугались, наверно, что за шкаф «наругают» и расскажут родителям. Пока всё это, за девчонками уже пришли. И вот все рассосались, и, помню, эта картинка: я сижу почему-то в одеяле, как какая-нибудь жертва катастрофы (только это уже потом так стали по тв показывать), все уже ушли, бабушки кончили причитать и ругаться, и вот. Они что-то там шушукались-шушукались, и в итоге такие:  
«Оля, ты уже взрослая,  
тебе семь лет,  
мы решили,

что пора». И, короче, рассказывают мне эту всю ситуацию, что мама, оказывается, писала эти письма. И протягивают.  
Три.  
То есть за пять лет, за шесть лет, и, то что и так должны были сегодня, за семь. Сказать, что я офигела; ну, не будем об этом.

В первом письме был рисунок.  
Наверно, мама не была уверена, что я в пять лет буду уметь читать. Рисунок. Значит, там такая девочка с косичками идёт по улице, улыбается во весь рот и держит маму за руку. А мама нарисована простым карандашом – прозрачная. Ну, мысль ясна. Я могу показать.  
Вот.  
Только здесь не видно. Потому что я её потом раскрасила. От злости раскрасила. Потому что мне казалось: очевидно же, что здесь что-то капитально не так. Или не надо улыбаться так во весь рот имбецильно девочке, или мама должна быть раскрашенная. Иначе не стыкуется. Но так как улыбка была нарисована фломастером, и с ней ничего поделать было нельзя, то выход оставался только один. Раскрашивать. И ещё здесь была надпись «Оля и Настя». Я её тоже. Замулевала. Потому что раз эта мама раскрашенная, значит, живая. А моя мама мёртвая. Значит, это не я и не она, а какая-то другая мама. Не Настя. Такой детский протест, в общем.  
Да.  
Меня, кстати, за это за закраску бабушка очень потом поругала и плакала.  
Да.  
Мою маму звали Настя.

Вообще у меня в детстве ничего такого не было жёсткого. Как в сериале «Школа» показывают. Не было. Может, потому что я в центре училась, ездила. Или город хороший. Один из немногих хороших в России, как я понимаю. Во-первых, юг – то есть не депрессивно. Ну, и вообще.  
То есть все трудности – они больше такого психологического свойства. Помню, в первом классе в первые дни я страшно боялась спросить у соседа по парте: «Дима, как тебя зовут»? Потому что очень хотелось завести, конечно, разговор, но было совершенно непонятно, как и о чём. Мама писала мне, что всегда дружила не с девочками, а с пацанами. Дескать, девочки – ну, как бы не о чём. А у меня не очень как-то складывалось в школе именно с мальчиками дружить – никто не приветствовал этого как бы. И я переживала, что я хуже, не такая классная, как мама. Но потом уже у меня были чудесные друзья.

В основном, за счёт поэтического клуба, над которым, конечно сами же мы стебались, но всё равно. Это было такое место важное. Ну, и всякие их, этих людей, однокурсники, одноклассники, мужья, жёны. И как бы практически всех классных людей в этом городе ты хоть немного. Знаком.

А до этого было, конечно, это чувство. Ну, необъятности.  
И этого взрослого мира. Что он же вроде как отдельный был. Что, ну психологически ты всю жизнь ощущал как будто, что наступит день, и ты в него войдёшь. А потом некоторое недоумение. От того, что такого дня никакого нет. И как бы ты взрослым себя вроде как уже просто обнаруживаешь. А опыта быть взрослым у тебя при этом. Собственного. Ноль. И что-то странное такое. Очень странный такой переход.  
Мне кажется иногда, что я, в силу некоторых причин, влюблялась долгое время в тех людей, которые были для меня максимально недоступны. С которыми у меня ничего не могло быть. Только вот первая любовь, кстати, была такая что ли благополучная. В 14. Но в том-то и дело, что очень детская. Так. Дружба с валентинками. Прятки от жизни.

А вот уже крышу мне снесло – это когда я влюбилась в преподавателя на подкурсах. И он был недоступен полностью. То есть мало того, что я школьница, и как бы он не посмотрит на меня. Дело даже не в этом. Я довольно скоро узнала, что он недавно женился, и у него недавно родился сын. И он ходил весь такой светом лучился. И я ничего. Все силы на то, чтобы он не догадался.

И ещё в тот период я много ездила на автобусах. Мама-мама, если бы ты знала. Садишься после школы в любой, только с условием, что не тот номер, что вчера, и до конечной. Где уже край города или вообще посёлок. Если через Кубань. И ты едешь так, как будто безымянный человек, в никуда, без цели, без всего – как будто бы тебя и нет. А значит, и любви твоей, которая у тебя уже в горле, вот здесь совершенно. Её тоже. Едешь только и пальцем по стеклу. Скрип. Скрип. Скрип. Инициалы. Как дура.

А потом я полюбила женщину.

Я уже теперь, когда о своей жизни если рассказываю, я обычно этот эпизод пропускаю. Я обычно просто, если надо, говорю, что три года безответно любила. И это даже не ложь – это, в общем и целом, передаёт состояние. Этой как бы одержимости направленной. Но, на самом деле, есть нюанс. На самом деле, полтора года я любила того человека, а потом полтора года женщину. А у меня всегда такое. Мне чтобы кого-то разлюбить, получается, надо обязательно в другого кого-то провалиться полностью – иначе не получается. Не знаю – может, это у всех так. А у них даже инициалы были одинаковые.

То есть он Александр Борисович, а она Алла Бренская. И так как я его называла по имени отчеству, а её только по имени – ну, в общем. Хотя её я называть по имени стала только уже через полгода, наверно. Помню, я тогда в поэтический клуб котёнка притащила – чтобы с ней заговорить. Потому что просто так – ну, это же. Это же нереально просто. Просто, ну. Не рассматривался такой вопрос. Причём её имя мне казалось настолько красивым. Даже не то что даже красивым, а таким.

Заклинательным.  
Что, ну просто так взять и сказать «Алла» – нет.  
Это была очень такая любовь  
взрывающая.  
Причём, что интересно, у меня не возникало никаких вопросов совершенно по поводу своей ориентации. Не знаю – может, потому что тогда это ещё не так распространено было. То есть я знала, конечно, всё – это я уже на первом курсе училась, и я уже знала лично, как минимум, одну лесбиянку. Но я была абсолютно уверена, что это не про меня. То есть – как это объяснить – вся моя жизнь, всё моё существо было посвящено этому человеку, Алле; всё моё время, все мои мысли, все мои конспекты были исчёрканы этими буквами «А» и «Б» (и это были именно её буквы, потому что Александр Борисович – уже к тому времени всё). Я утром одевалась с мыслью, вдруг встречу её сегодня (а Краснодар всё-таки не такой маленький город, чтоб вот так запросто). То есть вот это всё. Алла. Алла. Алла. Ничего больше. Только она. Но я абсолютно точно знала, что я, без сомнения, натуралка. Так тогда говорили искушённые люди. Натуралка. При том, что я тогда ещё была девственницей вообще-то. Ну и. То есть я знала – помню отлично это – что у меня к Алле это пройдёт.  
Я даже не хотела её.  
Да, наверно, я могу сказать, что я её не хотела. Потому что это невозможно было. Представить. Если даже просто по имени назвать –  
так невозможно.  
Разве что.

К щеке почему-то страшно тянуло прикоснуться. Но я так ни разу этого не сделала. Ни разу даже не поцеловала её при встрече. Других людей целовала, а с ней только здоровалась. Это может, даже чуть-чуть обидно и неприлично смотрелось. Но я не могла. Было бы слишком буднично.

У неё были рыжие волосы.  
Довольно длинные. Прерафаэлитский колорит.  
Она делала причёски.  
Когда мы встретились, ей было 35. Она совершенно взрослая была. Она была кандидат физических наук. Я уже только потом отразила, что она красилась. Ну, что у неё свой цвет был другой, обыкновенный – как у меня. Помню, когда она перекрасилась в блондинку, я плакала. Да, и когда я притащила котёнка в тот вечер тогда, двойное случилось. И я к ней обратилась (я сказала ей: «Алла, а вы». Не помню что дальше. Это неважно было. Это было первое, что пришло мне в голову). Я к ней обратилась, и второе – я дотронулась. То есть она до меня. То есть у меня котёнок был в руках, она у меня его взяла и дотронулась. Я тогда себя почувствовала довольно сильным человеком. Потому что довольно сильным надо быть человеком, чтобы не упасть, если почувствовал всё, что я тогда почувствовала. Впрочем, я была немного не трезвая. Это помогло выдержать. Вообще я тогда начала пить. Чтобы пережить всё это.  
Эту любовь.  
Кстати, до сих пор её имя когда произношу – как это объяснить? Если человека зовут Алла, я к нему так никогда не обращусь. И если о нём буду с кем-то говорить, то постараюсь избежать. Назвать по фамилии. То есть, если вдуматься, по сути, я её имя как бы и не произношу. Потому что Алла – это навсегда только она. Навсегда. Хотя я её сейчас разве что с днём рождения поздравляю. Ну, то есть совсем прошло всё. И даже пожелания придумывать уже стало сложновато.  
Восьмого августа.

<…>

Да, та история…  
Она довольно красиво закончилась. С Аллой.  
Примерно через полгода, чуть больше, мы стали с ней дружить. То есть я не хотела с ней дружить никогда. Разве что хотела там прийти к ней домой – это страшно хотела. До замирания.

Увидеть, как она живёт, кота её увидеть, книги. Чтобы она мне стихотворение посвятила – это вообще мечта была. Кстати, исполнилась.  
Но дружить.  
Это как бы всё бы испортило.

Я хотела большее всего, и это правда, чтобы она была счастлива. Я хотела этого каждый день, каждую минуту – маниакально. А она была не очень счастлива. Ну, понятно. Иначе бы она в 35 лет в поэтический клуб не пришла. Тоже там безответная любовь много лет и всё прочее. Я знаю, но не буду рассказывать. И вот мы уже стали дружить, и вот мы поднимаемся по её лестнице к ней – уже не в первый раз, – в подъезде темно, я заношу ногу на первую ступеньку – то есть я как бы в полёте почти, то есть между, и она мне говорит: «Ты знаешь, Оленька, а я полюбила». И тут, я помню, тоже. Как бы всё кружится – вся темнота вокруг, и на меня как будто сваливается какое-то нечеловеческое почему-то. Счастье. Или предчувствие. Предчувствие того, что, благодаря мне, она станет счастливой. Какое-то вообще нереальное что- то.

«А я полюбила».  
И она мне – то есть именно мне – потом рассказывала, как она с ним пересекается там у себя в преподавательской с этим человеком, с новым своим коллегой. Как консультации своим дипломникам, когда у него окно в расписании, прямо там назначает. Как не в состоянии ему слова сказать (хотя она была опытная женщина). Как там он ей кофе предложил, налил, а она не может пить, потому что руки от волнения дрожат. Всё это. Мне. Даже думаю, что *только* мне. И я это, конечно, всё как никто тогда понимала. То есть я же при ней, к ней то же самое. А она мне рассказывала. Это было так классно! И потом они поженились довольно скоро. То есть счастливо. И я как бы была свидетелем всего их романа. Как он в первый раз к ней пришёл – она рассказывала. Что у них ещё в ту ночь на той самой лестнице шкаф загорелся, который кто-то из соседей выставил. И пожарные приезжали. И я прямо видела, мне казалось, как кругом уже дым, а им всё равно. Наверно курил кто-то, может, бомжи, – у неё в подъезде вечно код был сломан.  
Да, и у неё ещё окна выходили на главную улицу в городе – на Красную. От этого она тоже казалась особенной. И можно было всегда по свету смотреть, дома ли она. И сейчас можно. Теперь уже – *они*.  
Она ещё говорила мне тогда про тот раз: «Ночь любви». П*о*шло, конечно. Вообще очень п*о*шло. Но мне тогда так понравилось. «Ночь любви».  
И, в общем, наверно, я думала, что это благодаря мне всё у неё случилось. Благодаря моему желанию. Потому что оно было очень. Как бы сказать. Истовое. И я тогда верила, что я так могу. Но только по любви, конечно, бешеной. И с тех пор никогда до такой степени, в общем- то, ни для кого. Потому что было в этом наверно что-то. Что-то вроде того, что я себя растрачу. А что у меня мама умерла, я Алле не рассказывала.  
Потому что боялась, что она в моём отношении к ней что-то такое прочитает. Что-то по Фрейду что ли. А я считаю, что этого аспекта не было совсем, совершенно. Просто была любовь.  
Такая любовь.

Я работаю в газете «Крестьянин». Это не шутка, я сельский корреспондент. Так вышло по причинам в основном сугубо эстетическим. Потому что что такое журфак – да ещё в южном городе? Да ещё в нулевые? Как бы это вот такие каблуки, это стразы, это волосы высветленные, весь этот пергидроль, и на лекциях такой примерно запах к концу дня, как в «Рив Гоше». То

есть очень смешанный. Причём всё это, как правило, либо контрафакт из Новоросса, либо что- нибудь. Потому что кто может себе позволить большее, тот и московский ВУЗ себе может позволить – хотя бы захудалый. И вот это всё. Я не очень любила из-за этого факультет, и очень, пока училась, жалела, что на филфак не пошла. Но тогда, когда до дела дошло до поступления, бабушки обе в один голос (что, кстати, было редкостью) всю эту песню: «Кем ты после него будешь? В школу что ли идти учителем? Там гроши. Кто такой вообще филолог? Единицы остаются в науке, преподавать в университете». Почему-то ни им, ни мне не пришло в голову, что я могу как раз оказаться одной из этих единиц. Ну, ладно. Не суть.

Но был один плюс. Журналисты учились во вторую смену. У нас корпус с филологами один – ну, и вот. И перед занятиями, особенно когда тепло, можно было купить возле дома баночку отвёртки ноль пять. Сейчас их я не знаю, кто вообще пьёт эту дрянь, а тогда почему-то нормально считалось. И стоила она примерно как два билета на городской транспорт – чуть больше. А мне как раз двумя автобусами и надо было добираться. А пешком если – быстрым шагом час примерно. И вот идёшь, весна, пьёшь какой-нибудь там «Розовый пёс» или «Секс на пляже», в плеере «Наше радио».

Да, это, кстати, плохо на память потом в дальнейшем повлияло. И вообще. Но тогда казалось хорошо.  
И до универа доходишь в таком состоянии, что как бы можно уже это всё переносить.  
Опять же: ни то чтобы что-то такое совсем невыносимое. Просто фальши много.

Там, скажем, «Этика журналистики». Такой предмет. К нему надо было из прессы вырезать и наклеивать в альбом для рисования примеры нарушения этики. Или там заучивать «Кодекс российского журналиста». А это уже третий курс, и все как бы сориентировались, что по факту верх удачи карьерной – если в городе оставаться – это на ту пору глянцевый журнал «О!блик». Так и писался с восклицательным знаком после «О». И все, конечно, говорили «О!блин» – не иначе. «О!блин», где в основном надо переписывать своими словами из интернета статьи про моду, и где месячной зарплаты на полную ставку тебе хотя бы на еду и на транспорт хватит. В отличие от других мест. А алкоголем – на всяких презентациях можно заправиться.

Это если по специальности. А у меня был такой пунктик, что надо обязательно по специальности. Может, потому что я помню, как в 90-е на толчках, где все одевались, торговали люди, которые считали своим долгом, пока ты меряешь кроссовок, твоей бабушке сказать, что вообще-то у них высшее образование и они здесь временно. Это казалось очень страшным. Так что по специальности – это обязательно.

Можно было, конечно, на местное телевидение ещё пробиваться какой-нибудь прогноз погоды читать, но для этого нужно слишком много локтями с этими же девушками в стразах толкаться. И – опять же – самой волосы покрасить и лифчики с поролоном носить.  
Так что этика журналистики или там история печатных изданий декабристов, по которой у меня был диплом, – это что-то было от реальности очень отдельное. А пафоса много. И оттого противно. Так что «Розовый пёс».

Ну, и в итоге я сельский корреспондент. Это как бы хоть каким-то боком близко к журналистике – поездки там по краю, грязь месишь, сбор информации. И есть какая-то область, в которой надо реально начать разбираться, развиваться. Это потом уже выяснилось, что там тоже много разных подводных камней. В этой сфере. У нас же как делается. Допустим, эпидемия. Объявляется эпидемия: что все свиньи в крае заражены. Кроме, конечно, тех, которые относятся к животноводствам, принадлежащим губернатору. Точнее, его ближайшим родственникам. А это в крае примерно три пятых. И всех свиней, кроме губернаторских, приходится сжечь, хорошо если не заживо. Таким образом организуется такая «естественная монополия» ненавязчиво.

А на следующий год, скажем, куры.

Я когда об этом узнала, думаю, журналистское расследование туда-сюда, центральная независимая пресса (тогда ещё вроде как была).  
Но у меня спросили: ты камикадзе? Я заглянула в себя, и поняла: нет. Я не камикадзе. Наверно, это плохо, но. Но это так. А у нас газета государственная.

Недавно я рылась в интернете и искала разные фобии. То есть, ну, понятно: наверно, каждый это когда-нибудь делал. Находил какие-нибудь безумные вещи типа боязни налипания арахисового масла на верхнее нёбо или боязни длинных слов – и изумлялся. Я стала это делать с конкретной целью. Я поняла чётко, какая фобия у меня. И не нашла её. Я была удивлена, что не нашла, – я не думаю, что она уникальная. Боязнь долгой жизни.

Боязнь долгой жизни.  
В принципе, я, мне кажется, хорошо разобралась, отчего она. Банально: из-за депрессий. Мне, кстати, бабушка, когда я плакала в детстве, так строго говорила: «Ты что истеричка?». Бабушка не хотела, чтобы я выросла истеричкой – истеричкой быть стыдно. Очень стыдно быть истеричкой. Правда. Правда. Но если это есть?  
Я знаю, что депрессия повторится. В сущности, я, как и каждый, ничтожно мало знаю о будущем. Почти ничего не знаю. Кроме одного факта: депрессия повторится. И чем больше этого было в прошлом, тем гарантированнее, что наступит опять. То есть это накроет, я буду лежать в кровати или так скрючиваться, как будто в живот выстрелили, в темноте на улице, я буду рыдать, как сука, и чувствовать, как всё бессмысленно – то есть тотально – и по какой-то причине мой серотониновый обмен – то есть процесс ингибиторного захвата серотонина у меня в организме – устроен так, что от меня эта бессмысленность не скрыта. И, если верить Википедии, так же обстоит дело у десяти процентов людей на Земле.  
То есть я про бессмысленность жизни как таковой. Не моей там одной маленькой. Биологической жизни. Которую пытается как-то на время подчинить себе, скажем так, личность. На время, отведённое человеку. И почему-то принято считать, что принято хотеть, чтобы это было подольше. Такой стереотип.  
Я, допустим, перевожу какие-то деньги небольшие каким-то больным детям на операции, как и многие. Но вот сделают им операции, допустим, даже удачно – и что? И они будут ещё некоторое количество десятков лет жить. Вступать в этот биологический оборот. Вопрос: зачем? Вопрос: чем им это поможет? То, что у них будет эти несколько десятков дополнительных? Иногда я ненавижу родственников и тех, кому я дорога, из-за того что из-за них я не могу сделать со своей жизнью, что хочу. Ну, ты понимаешь. Хотя это моя жизнь! То есть несвобода такая.  
Или там кошки в приютах.  
Возьмите срочно эту кошку, или её придётся усыпить.  
Я очень люблю кошек. Очень. Прямо сжимается всё. Я делаю перепост. У меня вся стена в этом. Но – с другой стороны – разве им будет плохо, если они завтра не проснутся? Им же всё равно каждой придётся однажды через это пройти.  
Какая разница?  
Какая разница?  
Какая разница?  
Это наступает.  
Я корчусь.  
Я знаю:  
через несколько дней или недель меня отпустит. Я на некоторое время задышу. А потом это придёт снова. И я почувствую это как спадание с глаз фальшивых каких-то очков. Которые

должны меня защищать, как эволюционный какой-то механизм, но падают и ни хера не защищают.  
Такая связь времён. Такая определённость. Да, связь. Всё может быть в клочья разорвано, но эта связь останется: раз они были в прошлом, значит, будут и в будущем. Вообще не уйти. Радость приедается. Наслаждение тускнеет – духовное там, телесное. Желания тоже. Всё со временем становится как бы послабее, кроме одного. Каждая депрессия мощнее предыдущей. Ну, не херня ли?

Можно читать про людей в концлагерях, в окопах, под бомбами, можно ругать себя последними словами за то что ты в тепленькой кроватке, а кто-то прямо сейчас в плену где-то, кого-то насилуют, кто-то мёрзнет. Кто-то от рака умирает, в конце концов. Ну, всё вот это. А ты. Но что я могу, если мой серотониновый обмен устроен так.

Серотониновый обмен, Карл! Можно загуглить.  
Я боюсь долгой жизни.  
Я боюсь долгой жизни, потому что мне страшно эти приступы вновь и вновь переживать. Иногда я завидую маме.  
Не из-за того даже, что она умерла.  
Из-за того, что она, видимо, ни о чём таком не думала  
и поэтому  
смогла родить меня.

Был февраль. Второй курс. Февраль. Неожиданно выпал снег. То есть утром было что-то такое больше десяти градусов, трава пробивается, а потом похолодание, но всё равно плюс; и сильный снегопад. То есть такие хлопья в лицо. У меня произошла неприятность. Вина. Очень херово. И ремонтировали дорогу. И маршрутка, на которой я возвращалась домой, поехала к своей конечной остановке совершенно иначе. Не через мой дом. А там у нас недалеко рельсы железнодорожные, и вот она через переезд и. А уже темно, и я это всё как-то не сразу отразила, и я спрашиваю, будет ли она проезжать там-то и там-то, а мне говорят, что нет, и я понимаю, что мне лучше всего сейчас прямо выйти, и по этой стороне, а потом через рельсы, и, в общей сложности, минут двадцать пять пройти.

И я выхожу.  
А там такая обочина, темно, снег в лицо, люди не особенно ходят, и я иду в кедиках, как-то ужасно мокро, холодно, хлопья эти, и мне дико грустно, и я как бы вижу себя со стороны и. До смешного жалкое зрелище.  
И тормозит машина.  
И такой молодой человек, молодой мужчина говорит: «Вас, может, подвести?»  
И я так жалко себя чувствовала, что мне даже в голову не пришло, что он мог что-то плохое. Тем более, мне всегда с людьми везло. Просто человек помогает человеку. Это в той ситуации было абсолютно естественно.  
И я сажусь к нему в машину.  
И он спрашивает, мне куда, и говорит, что через следующий переезд удобней.  
И он везёт меня в ботанический сад.  
Это я понимаю, когда уже всё, поздно.  
Потому что не видно было ничего: темно, снег, пейзаж однообразный: блочные дома, где этот там переезд, в общем, поздно.  
И ботанический сад.

И он, как лес, неокультуренный.  
И я понимаю, что всё.  
И у него так тон тоже резко меняется, становится очень грубым, и я слышу по голосу, что ему тоже страшно. Очень страшно. Что он тоже понял, что всё.  
И от этого просто паника.  
Потому что я чувствую, что он ещё не решил, что делать, и будет как-то по обстоятельствам. То есть изнасилует – это понятно. А потом? Может, убить придётся.  
Мне недавно исполнилось восемнадцать, я ещё девственница.  
Уже, конечно, поздновато, но я в это время любила Алле, а до этого – Александра Борисовича, и были всякие предрассудки по поводу того, что. Ну, понятно. Надо по любви.  
И вот я еду, я понимаю, что всё, это такая грунтовая дорога в ботаническом саду, кругом деревья, никого, я прикидываю, не попытаться ли мне выпрыгнуть сейчас на ходу, я понимаю, что это бесполезно, что в лучшем случае, даже если мне удастся убежать, что вряд ли, через деревья, через деревья, спрятаться; а потом выбираться, сад очень большой, а там в окрестностях даже транспорт не ходит, это уже глушь, и денег, чтобы какое-то там такси, естественно, нет, и неизвестно, что ещё со мной там вообще случится, в этом районе, сколько я буду добираться, а у меня тогда ещё не было мобильника, бабушки будут страшно психовать – сначала одна, потом позвонит другой –  
такого не случалось,  
чтобы я  
не приходила  
без предупреждения;  
он говорит,  
что въебёт мне по лицу,  
если я  
буду кричать –  
так и говорит,  
и я понимаю,  
что лучшее для меня –  
то есть то,  
чего мне надо добиться – это чтобы он меня поскорее трахнул,  
но не убил,  
и даже не оставил здесь, а как-нибудь сделать, чтобы он меня ещё после этого отвёз домой.  
И чтобы никаких следов  
На видных местах  
не было.  
И тут я перестаю врать, что мой папа работает в ФСБ и его найдёт, и что я запомнила номер машины, и всё такое, а начинаю вести себя очень смирно. Потому что я реально начинаю думать сейчас не о себе и о своей замечательной девственности, а о бабушках.  
И у меня мысли и зрение всё реально становятся многоканальным. Как у какого-то спец.агента, которому надо успешно провести операцию. Я начинаю играть. Я начинаю играть.  
(Я сейчас уверена, что помимо всего этого, была ещё одна мысль. Что я знаю, *за что мне это*. Потому что у меня тогда, в то время, как бы был мальчик. Ну, как мальчик. Он на физфаке учился. А я тогда всем, кто хотел со мной встречаться, – а это были, в основном, друзья – я признавалась: прости, но я люблю Аллу. Я считала, что это очень удачно, потому что не ранит хотя бы мужское самолюбие. Но они после этого на время переставали со мной общаться, а он не перестал. И мы стали как бы случайно после того, как я сказала ему «нет», почти как бы встречаться. То есть ходить везде вместе; и целовались. И все думали, что мы пара. Но мы парой не были. Я с ним не спала. И я видела, что он очень мучается – не от того даже, что я с

ним не сплю, а от того, что. Ну, я вся в ней. Но ничего не могла сделать. И в какой-то момент. Он не пошёл сдавать зимнюю сессию. Без объяснений. Без попытки оформить академ. Просто молча. Ну, и потом. Потом, соответственно, его отчислили. И он так спокойно мне в этот вечер сказал, что он затрахался мучиться, а так просто расстаться не выходит, и он сделал это специально, и весной пойдёт в армию. Всё. Прямо в тот вечер. Это для меня было ударом. Я чувствовала себя сволочью. Я говорила себе, что ничего не могла сделать. Но понимала прекрасно, что я могла. Я могла хотя бы с ним спать. Целовалась же я с ним. Он был очень хороший.

А я.  
Ради кого-то. Кого полюблю. И из какого-то стыда раздеться. С ним не спала. Зачем?  
И вот теперь, когда у меня многоканальное зрение спец.агента, я чётко вижу, что мне надо выполнить задание по безопасному возвращению домой, и я так же вижу с необычайной ясностью, *за что мне всё это*. За Арсения. И какая-то злая ирония к себе. Поделом!)  
По-моему, когда он начал стягивать штаны, я на какое-то время потеряла самообладание и опять стала кричать, что я ещё девственница. Очень глупо. Тогда он по какой-то невероятной причине сказал:  
«Хорошо.  
Можешь сделать ртом».  
Я не стала делать ртом.  
Я почувствовала, что он блефует. Что хочет и того, и того.  
Нет, даже не потому.  
Я подумала, что это гораздо хуже.  
Нет, даже не так.  
Я подумала: «Ну, нет, ты меня, конечно, сейчас трахнешь, но минет я всё равно в первый раз сделаю тому, кого буду любить». Вот так. Или мне уже после стало казаться, что я так подумала(?)  
Сейчас я очень люблю секс. То есть у меня его, наверно, меньше, чем хотелось бы из-за всяких табу и из-за гордости и из-за моей любви, но я очень люблю секс. И у меня нет зажимов. Я считаю, что это всё, что случилось, не отложило на меня никакого отпечатка, что это не стало травмой. Просто были в моей жизни эти полтора или два часа, в общей сложности, этого очень большого страха. Просто сколько-то минут или секунд – я не помню, я не знаю, сколько – пока он был во мне, – я орала так, что, казалось, лопнут стёкла. Или барабанные перепонки у нас обоих. Мне казалось, я могу орать так бесконечно, что у меня хватит воздуха. Я не знаю, почему я орала – мне не было так уж больно. И, конечно, никакой речи про удовольствие, это понятно. Мне уже даже не было так страшно – к тому моменту я уже чувствовала, что он меня не ударит и не убьёт.  
Может быть, для того, чтобы испортить всё ему??  
Я не знаю.  
Я не знаю, что у некоторых людей в голове. Знаешь, что было потом? Что он спросил у меня после?  
«Тебе понравилось?».  
Он изнасиловал меня, и спросил: «Тебе понравилось?».  
Я знала, что мне надо было делать. Мне надо было домой.  
Я спокойно ответила: «Да, мне понравилось».  
«Ты так сильно кричала, потому что тебе понравилось?».  
«Да, я так сильно кричала, потому что мне понравилось».  
Он больше не думал о том, что меня придётся убить.  
«У меня никогда раньше не было девственницы».  
Ну, какой же он идиот.

Он был разобран, я собрана. Я молчала. Он вёз меня домой.  
Я сказала ему остановить рядом со школой. Я сказала, что учусь здесь, в 11 классе. Я никогда здесь не училась. Он спросил меня, точно ли я соврала, что мой папа фсбшник. Я ответила, что, конечно, соврала. Он сказал, что ему было со мной пиздец как хорошо. Мне захотелось холодно так ударить его по лицу и гордо выйти, оставив его униженным. Но он был унижен и так. А я была осторожна. Я знала, что я выйду сейчас, и быстро юркну в проход, куда он не проедет, и побегу по дворам, и он никогда не узнает, где мой дом и кто я. По всем законам самосохранения он не должен был меня отпускать. Я могла оглянуться и запомнить номер – я б увидела его – у школы были фонари. Во мне была его сперма. Плюс кровь. Отпечатки. Я соврала ему, что я школьница, думаю, он поверил. То есть несовершеннолетняя. То есть если я заявлю – это где-то 15 лет. Так он должен был думать. То есть к сегодняшнему дню он уже 10 лет бы был на зоне. Как он мог в этой ситуации отпустить меня? Он был страшно слаб. Жалок. Мямлил. Я почувствовала почему-то ясно, что если бы он узнал, где мой дом, завтра он стоял бы у подъезда с цветами. «У меня никогда раньше не было девственницы». Он не узнает. А мне поделом. Горькая издёвка. Бедный Арсений. Я была теперь женщина. Я могла теперь сделать со своим телом что захочу. Просто экспериментировать в ожидании своей большой любви. Не терпеть. Я была абсолютно свободной.  
И очень сильной.  
И очень взрослой.  
Когда я выходила из машины, он спросил, как меня зовут.  
Мне захотелось  
произнести это слово.  
Просто произнести.  
Это имя.  
И я ответила:  
Настя.

Одно письмо моей мамы. Отрывок.

*«...Конечно, тебе скажут это и бабушки, и папа, но я хочу, чтобы ты услышала это и от меня тоже: твоя учёба – это на ближайшее время твоя работа. Может быть, что-то и поменялось, но, честно говоря, сомнительно: ты живёшь в непростое время. На всякий случай, помни изначально, что на юрфак, экономфак и ещё на медицинский традиционно всю жизнь был очень высокий конкурс, и большинство мест распределяются по блату. Ты уже взрослая, поэтому я пишу тебе о таких вещах».*

Шутка, конечно. Другое письмо. Вот это. Самое искреннее письмо.

*«...Когда я узнала, что у меня рак, я купила пачку сигарет и спички. Вообще-то, доченька, я никогда не курила. Но тогда я шла из больницы одна, бабушка была дома с тобой, ты болела и не ходила в садик. Папа был на работе. Я шла одна. Я подумала: “Что мне делать теперь? Позвонить из автомата? Позвонить домой маме? Позвонить Лёве? Сказать?”. Это было не то. Я купила сигарет. Меня как будто вело что-то. Я понимала, что моя жизнь заканчивается. Какой-то голос внутри меня спросил: “Чего ты хочешь? Чего ты хочешь больше всего?”. И я почувствовала ответ. Я шла пешком и я сделала странную штуку. Эти*

*круглые клумбы в центре небольших площадей, круги зелени, где всегда несколько ёлок и иногда памятник. Такие пространства ни для кого среди машин. Я никогда не была ни на одном из них. А в тот вечер побывала. На пересечении Красных партизан и Аэродромной – знаешь? Что там теперь – всё тоже? Ёлки, наверно, подросли. Я перешла улицу, я стала где-то посредине. Безлюдно, вокруг все куда-то едут. Я достала сигарету. И сняла кольцо. Не знаю, что двигало мной. Мне было очень странно. Я выкурила сигарету “Космос”, выпуская дым сквозь кольцо, глядя на полную луну, стоя в центре круга, вокруг которого сновали машины. И повторяла одно желание. Я не знаю, насколько это понятно из моих писем, но в жизни, доченька, я была достаточно рациональным человеком. И вот я стояла и делала такое. Это было похоже на колдовство. Какое-то наваждение. Потом я сняла кольцо и надела его на ветку ёлки насколько могла высоко. Это теперь был твой талисман. Надеюсь, он до сих пор там. Только ближе к небу».*

*(Оля не без вызова показывает кольцо на своём среднем пальце.)*

Да, оно было выше, чем я могла дотянуться. Я попросила моего друга посадить меня на плечи. Он не был уверен, что кольцо стоит снимать, но меня переполнял протест.

*«Не знаю, сколько было выдохов, но с каждым из них я шептала: “Пусть Оля будет счастлива”. Это было моё самое большое желание. И остаётся. И будет оставаться, пока я жива. Доченька, тебе восемнадцать лет...».*

Я была страшно зла. Даже сама чувствовала, как глупо, что настолько. Мне казалось, что она не имела права. Она полгода желала мне счастья вместо того, чтоб желать самой себе жить. Как она себе это представляла? Как я могу быть счастлива, если я провела всё детство, всю юность без неё. Если я так скучала, так по ней плакала. Так привыкла уже быть ужасно несчастной, пила. Я так нуждалась в ней, а она, оказывается, израсходовала своё желание. В этом было какое-то самодурство. Какая-то красивость что ли. Гадко! И вот. А я же верила, что желание может сработать! У меня же был такой опыт у самой. Это как раз тогда всё происходило с Аллой. Может быть, она вообще могла бы справиться. И даже эти письма! Сколько сил она отдала каждому из них! И всё это время, пока писала, представляла, как она умрёт, и я буду без неё. Настя! Ты дура, Настя! Лучше бы боролась, нет? У меня была истерика. Друзья меня пытались успокоить. Бабушка дала мне письмо незадолго до их прихода. Она же не знала. И вот. Они пришли, я держусь. Потом выпила первый бокал и разревелась. Реву, объясняю им всё это, читаю куски. Кто-то предложил пойти туда, и это было то, что меня как бы как-то встряхнуло. Мы пошли. Взяли из дома шампанское, какую-то еду, в магазине купили пластиковые стаканчики, водки ещё. Я отметила своё восемнадцатилетние в месте, где моя мама стояла через час, через час наверно, после того, как ей сказали, что у неё рак. Мы обследовали ёлку. Посередине была одна. Удивительно, но мы нашли кольцо. Я ломала ветку, я колола пальцы, я плакала. Запачкала обувью Арсения. Он держал меня за бёдра. Я плакала. Я была пьяна. Друзья были со мной. Наверно, я от чего-то освобождалась. Это было неповиновение, что я забрала кольцо. Такая чёрная траурная ёлка. Мне не хотелось исполнять желание Насти. Мне хотелось, чтобы Настя была со мной.

И ещё почему-то  
ужасно хотелось,  
чтобы это кольцо было тёплым.  
Оно с того дня всегда тёплое, потому что на мне, и мне от этого, наверно, спокойней. Как-то так.

Если с какими-то новыми людьми заходит речь о моей семье, я говорю, что у меня есть бабушка-диссидент и бабушка-патриот. Это, конечно, ерунда, но звучит прикольно. Жила я больше с бабушкой-диссидентом – это мамина мама. Сама она диссидентом, на самом деле, никогда не была, но когда мне было лет 12, она рассказала, что одна её подружка (которую я знала) когда-то была осуждена и сидела за самиздат. Ну, за печатную машинку. Это произвело на меня большое впечатление. У бабушки были набранные на этой машинке и уже потом переплетенные Ахматова и «Гадкие лебеди». В те времена, наверно, спрятаны были, а в моём детстве на полке стояли. Читать очень трудно из-за того, что буквы блёклые, но я в детстве прочла.

Я уже второй год дарю бабушке-диссиденту на день рождения подписку на «Дождь», и она очень рада.  
Бабушка-патриот считает, что Крым наш. И что «слава Богу, эта земля достаточно полита русской кровью».

Почему «слава Богу»?  
При этом в Бога она не верит, хоть в детстве её тайно крестили. При этом постоянно говорится, что предки её были казаками и воевали в Гражданскую за красных. Бабушка этим гордится. При этом мама моего дедушки, то есть её свекровь, была дворянкой, скрывшей своё происхождение, и бабушка-патриот много лет любила её просто как маму. И думаю, что всё культурное как бы у неё от неё. Там всё очень сложно.  
Бабушка-диссидент всегда была ко мне (как и к себе) очень строга. Бабушка-патриот хвалила меня по любому поводу страшно. До недоумения. Из-за этого у меня некоторые перекосы. Ну, то есть я иногда сейчас уже, оглядываясь, думаю: если бы я относилась к похвале в жизни как к реальной оценке своих способностей, а не как к фону, я бы, может, что-то большее попробовала. Ну, там поступить в другой город. А может, и нет. Не суть.  
Недавно я пришла к бабушке-патриоту и увидела у неё на холодильнике магнитик со Сталиным. Мне хотелось плакать.  
Мне хотелось кричать.  
Причём с матом.  
Который она не переносит.  
Как это возможно?  
Я сказала сухо, что прошу впредь снимать это перед моим приходом. Это было не самое умное, но мне было трудно справиться с эмоциями.  
Бабушка стала как-то смущаться; и защищаться; и говорить, что это прикол. Так и говорила: «Это прикол». Повторяла. Это она от папы слову научилась. Я сказала сухо, что ничего прикольного здесь не вижу. Тогда она стала ещё больше защищаться и всё вот это. «Зато была сильная страна. Нас все боялись. Никакой коррупции. Никакого разврата. Детей не продавали на органы, и не было педофилии. При Ельцине от палёной водки умерло больше, чем при Сталине». (Прекрасно!) И ещё почему-то, что подростки не нюхали «Момент» по подъездам и не кололись. Хотя я не думаю, что бабушка за свою жизнь как-то пересекалась хоть с одним подростком, нюхающим «Момент». Я, например, не пересекалась.  
И я сижу в её чистенькой одинокой кухне над котлетами и думаю: «Маразм это или не маразм?». Отвечать мне на это всё или, в конце концов, я за свободу мысли. И она как бы взрослый уважаемый человек, который прожил, и в том числе и при Сталине, и видел войну, про которую я читала. И всё это.

Как она прожила? Я смотрю на неё, я помню её почти молодой ещё – всего на 20, ну там на 25 лет старше, чем я сейчас. Я помню, как рисовала её лет в 5 и считала, что она намного красивее, чем бабушка-диссидент, потому что у неё волосы длинные – типа каре – и ещё не седеющие. Я смотрю на её морщины. Она предлагает соленья. По три раза каждое. Всегда! Я привычно отказываюсь. Как она жила? Она работала в НИИ – приходилось ей подписывать коллективные письма, делать всё это? Подлости. Это были уже другие годы, но всё равно. Считалось, что она любит литературу – как она реагировала, ну там на процесс Синявского и Даниэля? Смешной вопрос. Папа мог по возрасту попасть в Афганистан, если бы не поступил. Что она думала об Афгане? Не замечала, как и все? Я ем котлеты.

Бабушка-патриот часто рассказывает, что ей ещё с молодости снится Пушкин. И говорит это с таким лицом, по которому ясно видно, что у них там бурый роман.

А вообще-то я была благодарна бы, если б мама однажды написала, почему она выбрала моего отца. Но она не написала. Это большая загадка. Только бабушка-диссидент, которая его очень не любила, говорила мне, что он как-то так долго и упорно маму добивался, что она в итоге. Маленький семейный миф.

Из которого косвенно можно заключить, что мама не очень-то любила своего мужа.  
Это меня очень огорчает.  
Не из-за папы, а из-за мамы, конечно.  
К сожалению, она не написала мне ни о какой своей любви. Я одно время всё пыталась вычитать между строк. Но от этого только усугублялось чувство, что я её вообще не знаю. Интересно, если бы она была жива, знала бы я её больше? Одно время я пыталась расспрашивать бабушку. Но это самое бессмысленное. Что она может знать о Насте? Что она реально знает обо мне? А что бы Настя обо мне знала, если бы?

Так вот, отец. Я помню вроде, конечно, что он был в молодости довольно ничего, классный. Но он из тех людей, которые свой репертуар шуток мало обновляют за двадцать пять лет. Интересно, насколько мама успела это понять? Они прожили вместе шесть лет, шесть с половиной. Интересно, расстались они или нет бы, если б она не умерла?

Беда в том, что он ей изменял. Вернее даже беда в том, что он мне рассказал об этом. Этого, как мне кажется, не надо было делать. Честно, без этой информации я бы спокойно прожила. Да. Но папа такой человек, который. В общем, если ему чего-то захочется, то его уже не остановишь. Настя не знала.

Он рассказал мне это, когда мне было 14, и у меня была такая что-то вроде первая любовь – я говорила уже. Очень невинная с юношей, который учился уже на первом курсе, но был в некоторых отношениях, по-моему, чище, чем я. Папа как бы волновался за меня – ну, в смысле, когда вспоминал, что у меня есть такая ситуация – и решил поговорить со мной как отец с дочерью. О мужчинах. В общем, мысль разговора сводилась к тому, что мужчина, если он здоров, хочет поиметь всё, что движется. Почему-то это дурацкое слово. А если это не так, то мужчина нездоров. И если парень, с которым я встречаюсь, не хочет меня поиметь, значит, я выбрала какую-то соплю, и папа моего выбора не одобряет. А если он, кобель, хочет меня поиметь, то в таком случае пусть пеняет на себя, и папа ему этого ни в коем случае не позволит. Ну, это если резюмировать. Мне 14 лет.

Я с тех пор обсуждала этот вопрос с несколькими друзьями – уже во взрослом состоянии; и вообще много ему посвятила времени. И я уверена, что это не так. Что это очень индивидуально, и есть вполне здоровые и нормальные как бы мужчины, которые о-о-очень избирательны. И есть даже искренне моногамные мужчины. Их немого, но они есть. По крайней мере, моногамные в период, когда они влюблены. Короче, я считаю, что мужчины не более развратны там и всё такое, чем женщины. И всё не так плохо.

Но это я уже потом разобралась. А в тот момент это всё меня страшно-страшно травмировало. Просто лет на десять. Да какой там? Больше.  
Вообще-то это разрушило мой брак. (Чёрт, какая-то газетная формулировка.)  
Потому что всё было очень убедительно. Потому что мне нечем было опровергнуть. Он ведь говорил как бы про вопросы скрытых желаний мужчин, и он был мужчиной. А на всё, что я ему могла ответить, он возражал, что я наивная девочка. То есть это был неравный бой. И он очень кочегарился. И его уже несло. Он очень вошёл в образ доминантного самца, и всё время говорил это своё «поиметь». И тут во мне что-то щёлкнуло, и я спросила его – прежде чем подумать, хочу ли я это знать, – было ли с ним так, когда он любил маму? И когда он как-то так долго и упорно её добивался. И когда они были семьёй. А ему уже некуда было отступать, потому что здесь выбор такой: или ты выйдешь из образа доминантного самца, или тебя возненавидит твоя дочь. Ему было некуда отступать. Он сказал:

«Конечно».  
И посмотрел мне в глаза.  
В них, вероятно, было что-то такое страшное. И дальше он уже, он наверно, я так думаю, он защищался. И ещё, может быть, защищал меня. От мужчин. От всех мужчин, которые могли бы захотеть «поиметь» меня за мою долгую жизнь. Вероятно, ему стало страшно. Если он сам так относился, он, наверно, и правда думал, что так относятся *все*. Все мужчины. Все-мужчины- одинаковые. И тут – в первый раз, и, возможно, в единственный – он посмотрел на женщину, которую всё-таки по мере сил любил, на свою четырнадцатилетнюю дочь, и у него мелькнула мысль: «Каково это?». Каково это, когда на твоей дочери женятся, ни на секунду не сомневаясь, что будут продолжать иметь других? Каково это, когда с твоей дочерью пьют чай у неё дома, как жених, а потом заходят в общагу и имеют кого-то другого? Какого это, когда к твоей дочери заходят ночью в общагу от невесты, и имеют твою дочь, потому что невесту пока нельзя? Каково это, когда твою дочь имеют где-нибудь на вечеринке просто чтобы не упускать случая? Каково это, когда твою дочь и то, как её имели, обсуждают с друзьями за пивом? Каково это, когда с твоей дочери снимают лифчик и немного разочаровываются, потому что думали, что грудь побольше? Каково это, когда твоя дочь приедается? Каково? Каково? Каково?  
Всё то, что он делал в своей жизни с женщинами, вдруг на миг представилось ему как бы с обратной стороны. И он захотел предупредить меня. Захотел защитить. Так я думаю. Так я написала бы об этом.  
И он сказал:  
«Более того, когда я жил с твоей мамой, я себе не отказывал в других женщинах».  
Он сказал это именно так, по-книжному. Как будто специально выбрал такую формулировку, чтобы максимально ранить, максимально меня как бы всё. Я уверена, в этот момент он ненавидел всех мужчин, которые могли бы ко мне прикоснуться. И он хотел, чтобы я тоже ненавидела.  
Ни то что бы он этого добился.  
Но это чувство.  
Что как бы никаких гарантий.  
И что вот Настя. Настя, которая пишет мне все эти письма, даёт советы, а она, оказывается, жила с человеком, который ей изменял. И не знала. Я точно вычислила по письмам, что она не знала. А вот мне 14 лет, и я знаю. И как мне теперь? И даже дело не в этом.  
Дело в том, что я теперь не могла верить. И меня это не волновало с теми, кого я не любила. Но только с теми, кого я не любила. Или с теми, кто мне был недоступен. Ну, не был моим. Эта была, в каком-то смысле, бомба замедленного действия.  
А надо ли говорить, что где-то годам к 20 я уже дико устала. Я очень хотела, наконец, полюбить взаимно, сильно и максимально надолго. А этого всё не было. Всё не было, не было и не было. Мне казалось, что это как раз и будет весь смысл. Потому что что было в моей жизни? В смысле

дорогого. Были прекрасные друзья, были бабушки, был красивый центр Краснодара, море в трёхстах километрах. Абрау-Дюрсо; Мезмай, Архыз, Лаганаки. И всегда любовь. Но всегда мучительная. Да, и лучшее, что я делала – это, мне тогда казалось, стихи. И в них как бы тоже вот эта вся мучительность и ожидание любви.

Короче, к тому моменту, как я встретила Мишу, я уже была вся просто наэлектризована желанием любви. Он про меня написал так, как никто никогда не напишет. Он написал про меня: «она как в арбалете клавесинная струна». «В арбалете клавесинная струна». Всё. После этого можно никаких цветов не дарить, никаких усилий уже не предпринимать. Прямо в сердце. Миша – это та самая любовь. Как бы точка.

И я тогда написала то первое и единственное на тот момент письмо. Мой ответ. Написала, что она не зря так хотела, чтоб я была счастлива – я счастлива.  
Мне казалось, я всё поняла.  
Больше не будет ни этих депрессий, ни боли, ничего.

Мама, всё получилось!  
Его зовут Миша, мама!  
Настя, его зовут Миша.  
И, кстати, я рожу ему ребёнка.  
Я не буду долго об этом рассказывать. Он доучивался в Ростове, сам был из Воронежа, его занесло в Краснодар на какой-то фестиваль, мы познакомились, взрыв, он доучился, переехал ко мне. Всё. Такая у него была дорога на юг. Он стал моим мужем. Я вышла замуж в том же возрасте, что моя мама. Смешно. Он стал моим мужем.

И как бы у нас всё очень хорошо.  
Но я схожу с ума.  
Вот это вот, о чём тогда рассказывал отец, о чём я почти не думала. Вот это всё. И всё. Одна мысль, одно предположение, которое всё уничтожает. Что он, Миша, как и все мужчины, так устроен, что не может не хотеть других женщин. Постоянно. Постоянный ад. И как бы в этот момент я даже поняла, почему раньше у меня вся любовь была такая, что не может реализоваться. Ну, действительно: это организм сам себя защищал. От этого ада. От худшего. То есть я даже верила, что он не будет их трахать – по крайней мере, пока. Но он точно их хочет – и от этого я готова просто умереть. Я ревновала его ко всему. К персонажам из мультиков ревновала. Из компьютерных игр. Сначала молча, кричала по ночам, потом призналась. Но что можно было поделать? Если никакие его слова не могли меня убедить. Он же не мой папа, он же не скажет мне вот так в лицо: «Да, я хочу всё, что движется, поиметь». Он же щадит мои чувства. Когда он говорил мне: «Нет, я хочу только тебя, потому что я люблю тебя», мне казалось, что он щадит мои чувства. Нет, я даже уговаривала себя, что это не так, я изо всех сил уговаривала. Я очень хотела поверить. Я ненавидела себя. Но нет. Не получилось.  
И это был, конечно, крах.  
То есть я, в общем, к разному привыкла, но это было низвержение с вершины.  
Это идиотизм. Да, это идиотизм. Мы боролись. Но что-то надломилось, и мы не справились. И это наматывалось, наматывалось. И как бы это чувство, что мы друг друга мучаем. Которое ещё умножается само на себя от того, что мы друг друга очень чувствуем. И я чувствую, как ему больно от того, что он чувствует, что мне больно из-за того, что я чувствую, что ему больно.  
И вот это всё.  
И, в общем.  
Думаю, что если бы мы не расстались, это бы вообще не знаю, к чему бы привело.  
Причём сейчас – я же говорю – я с этим справилась. То есть понадобилось – сколько? – шесть лет. То есть три года вместе и ещё почти три. Сейчас бы этого не было всего, я бы нормально. Но как бы уже всё.  
Папа не виноват, он такой человек просто.

И я давно его не ненавижу.  
Но лучше бы он этого не делал. Лучше бы он этого не делал.

Самоубийство, конечно, очень помогает. Помогало много раз. Когда становится совсем, ты думаешь: хорошо. Через год я разрешу себе умереть. Сейчас – категорически, а через год, если захочется, – ок. Год-то можно вытерпеть – соберись, тряпка. Как говорит один мой друг. И как- то становится так. Веселишься. Но только условие: вот ровно в этот самый день через год. Если в этот день будет хотеться. У тебя будет 24 часа. Такая игра. Именно игра, конечно, но она как бы избавляет от безвыходности. Нет, реально, это такая прямо дверь «Запасной выход». Ты пляшешь на своей вечеринке, но знаешь боковым зрением, что она есть. Может, даже она на замке, но если очень прижмёт, ты всегда сможешь её выломать. А уж тем более, голову себе об неё разбить.

Но вообще я жду, когда умрут бабушки.

Потому что, если честно, я им, конечно, такой свиньи не подложу. Особенно диссиденту. Исключено. Исключено.  
Один раз они у меня спросили – то есть одна в присутствии другой: «Чего ты ждёшь?» «Чего ты ждёшь?»

«Почему не заводишь семью. Рожать давно пора. Чего ты ждёшь?».  
Я испугалась. Прямо сердце заколотилось. Потому что ответ был – один из ответов – нет, действительно ответ был: «Вашей смерти».  
«Вашей смерти».  
Фак.  
Господи.  
Я даже отшутиться не смогла.  
Просто молчала.  
Я их очень люблю.

А они ждут правнуков.

Но родить ребёнка! Ну, как это? Ну, как это? То есть, наверно, это счастье. Наверно, это наполняет смыслом. Даже гормонально как-то. Наверно, это фантастический опыт и вообще лучшее, что может с тобой случиться. Я не беру это под сомнение.  
Но это же всё для себя.

Для того, чтобы *в моей жизни* появился смысл. Для этого создавать нового человека. Обрекать на всё это.  
Ну, как это?  
Ну, блин!

Ну, какое у меня на это право? Я так не смогу.

Поэтому такая как бы жизнь. Она нормальная, но она до поры до времени. Я жду.  
Я молчу.

А друзья. Что друзья. Это не первая смерть в нашей компании, так что я сейчас я просто знаю, как это всё. Это шок, это горе, да, это память. Но все как бы становятся ближе. Это повод встретиться, в сущности. Повод обняться. Повод выпить. Повод сказать: «А помнишь?». И потом. Все мы достаточно циничные и нахватавшиеся разной философии люди, слава богу. Вот говорят: ничего нет ценнее жизни. И как бы как аксиома. Но разве это так? Есть много вещей ценнее жизни. Ну, может, не много, но какие-то есть. То есть её длины. То есть своей, конечно. Раньше честь была ценнее жизни. Ну, для дворян. Для мужчин. А, да, для девушек тоже. Или красивая смерть. Для кого-то вон счастье своего ребёнка ценнее жизни. Но это, конечно, дикая наивность. Вообще мне сейчас кажется, что я взрослее Насти лет на. Ладно.

Миша, конечно, ещё.  
Для Миши это будет удар, будет больно. Но у него уже есть другая семья. У него жена беременная. И потом. Это же не сейчас. Это ещё не сейчас. Я жду. Не суть. Ладно.  
Ладно. Пора заканчивать всё это. Пора открыть.

*«Моя дорогая девочка!  
Ну, вот тебе и двадцать восемь лет. Каждое моё письмо поздравительное. Поздравляю тебя и сегодня. Сегодня мы попрощаемся.  
Мне двадцать восемь лет, и это моё последнее письмо.  
Кстати, тебя приводили ко мне, и ты опять спрашивала, что с моими волосиками. Скоро я попрошу, чтобы тебя больше не приводили. Хочу, чтобы ты запомнила меня всё-таки красивой.  
Я стараюсь быть спокойной. Я так много рассказала тебе в этих письмах. Мне кажется, ты так хорошо меня знаешь! Я, как всегда, желаю тебе быть счастливой-счастливой. Чтобы у тебя было всё, чего не было у меня.  
Я почему-то уверена, что у тебя всё хорошо. Всё-таки я взяла на себя много страданий. Мне хочется верить, что своими страданиями я освободила тебя от чего-то.  
Я раньше не понимала, как это моя мама всегда говорила: «Лишь бы у тебя всё было хорошо». А теперь понимаю.  
Лишь бы у тебя всё было хорошо. Наверно, бабушка сейчас так говорит тебе. Но я уверена, что всё так и есть. Ты же у меня красавица и умница. Знаешь, когда решила, что выйду замуж за твоего папу, это было одной из серьёзных причин. Я уже писала тебе о том, как важно выбирать отца для своего ребёнка. Когда я выбирала папу, я думала о тебе. И тебе действительно передались его гены. Это уже сейчас видно. Даже по форме ногтей. И по тому, что ты такая же волевая, как он. То есть пока это выливается, в основном, в упрямость... Но я уверена, что ты многого добьёшься в жизни.  
Олечка, я никогда не писала тебе, но я очень хотела бы, чтобы ты назвала моим именем дочку. Может быть, ты и так уже это сделала? А если нет, может, подумаешь ещё об одной? Ты же ещё молодая. Я всегда хотела трёх детей. Но что поделать? Надеюсь, что внуков у меня будет не меньше трёх.  
Расскажи им обо мне. Я так глупо улыбаюсь, чтобы не плакать. Мои соседки по палате говорят, что я очень часто улыбаюсь, когда пишу тебе. И это несмотря на боли. И знаешь? Одна из них даже переняла эту идею. Я даже поначалу несколько ревниво отнеслась, но теперь радуюсь. Она теперь пишет своему мужу.  
А для меня всегда было самое главное – ты.  
Теперь уже можно признаться: Олечка, я с детства ужасно боялась смерти. Когда была маленькая, очень сильно плакала, представляя, что когда-нибудь умру. Это такое ужасное*

*чувство. Надеюсь, что тебя не мучило ничего подобное. Да, я боюсь умирать. Но я не представляю, как я пережила бы это, если бы у меня не было тебя. Ты же моё продолжение! Обещай мне, что будешь жить долго-долго. Мы же все продолжаемся в детях. Пока ты живёшь, я тоже живу. Пока ты живёшь, я тоже живу. Всегда помни об этом. Береги себя. Будь умницей. С днём рождения, доченька!*

*Твоя навсегда, мама».*

Настя, Настя, Настя.  
Настя, Настя, Настя.  
Настя, Настя, Настя.  
Ты меня убиваешь, конечно. Ладно. Не суть.

Если дочь будет, назову.  
Если дочь будет, назову.  
Настя и Настя. А я между них.  
Настя, Настя, Настя. Продолжаться в детях. Разве это не охренительный эгоизм? Почему считается, что так важно продолжаться, Настя?  
Нет, ну правда, знаешь, это так странно для меня.  
Настя, Настя, Настя. Ты хотела бы что-то обо мне знать?  
Не уверена.  
Но, на всякий случай, я рассказала.  
Настя, Настя, Настя. Мне 28 лет, и это моё последнее письмо.

Санкт-Петербург 2016 г.